

Демидов Георгий

Писатель

Георгий Демидов

Писатель

Рассказ

Посвящается памяти Игоря Стина

Его фамилия для русского звучит необычно. И тем не менее Владимир Евгеньевич Гене был не только настоящим русским, но и выходцем из старинного рода российских дворян. Далекий зачинатель этого рода происходил, наверно, из иностранцев. Но многие из аристократических семей на Руси, носивших немецкие, французские или голландские фамилии, нередко оказывались более русскими по духу, чем те, кто происходил от допетровских бояр.

Свой не слишком долгий век Владимир Гене закончил в маленьком полуненецком поселке, затеряншемся в просторах Большеземельской тундры. Здесь, после долгих лет каторги в заполярном лагере, Гене работал коллектором в одной из геологических экспедиций, обследовавших побережье Карского моря. Так называется должность собирателя образцов горных пород.

Коллектор был совершенно одинок и во всей России не имел ни единого родственника или просто близкого человека. Исключение составляла только какая-то женщина, проживавшая где-то в Воркуте с мужем и детьми. Когда случалась оказия, Гене посылал ей довольно объемистые пакеты, отправляя их по почте, причем всегда "до востребования", а не для вручения адресату непосредственно. Поселок, где базировалась экспедиция, находился почти на семидесятой параллели и был отдален от сравнительно обжитых районов Севера чуть не тремястами километров бездорожья, преодолеть которые большую часть года могли только гусеничные тракторы. Тогда, в середине пятидесятых годов, не только вертолеты, но и вездеходы не вошли еще в широкое употребление.

Пожилого и хмурого собирателя камней его товарищи по работе считали угрюмым, замкнутым и необщительным человеком, вечно думающим какую-то тяжелую думу и занятым чем-то своим. Коллектор жил в крохотной избушке на краю поселка с железной печкой посередине и запыленной голый лампочкой под потолком. Электричество здесь было. Им снабжала поселок, хотя и не очень регулярно, передвижная электростанция экспедиции.

Кроме подобия низких полатей для разбора минералогической добычи в коллекторской находилась еще только вечно неубранная койка, маленький некрашенный стол и две колченогие табуретки. В углу за дверью всегда стояли пустые бутылки из-под спирта. Коллектор считался хорошим работником, но сильно пил. Правда, не так, как все другие здесь. Он пьянствовал угрюмо, бесшумно и в одиночку, запершись в своей избушке и не выходя из нее иногда по нескольку дней. С увещеваниями и взысканиями за это к нему не приставали. Демонстрировать общественную заботу о моральном облике работника здесь было почти некому и не перед кем. А главное - Гене, когда не пил, работал за двоих. Про него знали еще, что, когда коллектор не бродит по тундре со своим мешком для камней и молотком на длинной ручке и ночует не в поле, а в своей избешке, он что-то пишет. Что именно, не знали, однако на всякий случай прозвали его Писателем. Прозвище, конечно, носило иронический характер и употреблялось только за глаза. Зубоскалить в открытую над не улыбочивым, одиноким человеком никому как-то и в голову не приходило.

За угрюмую необщительность и даже за необщепринятый род пьянства Писателя не осуждали. То и другое весьма естественно объяснялось его невеселым прошлым. Сын белоэмигрантов, вывезенный еще в отроческом возрасте в далекую Маньчжурию, Гене добровольно вернулся на родину в середине тридцатых годов. К этому времени он служил в Харбине в управлении Китайско-Восточной железной дороги, бывшей до 1935 года советской концессией на территории Маньчжоу-Го. Так именовалась в те годы бывшая окраина Небесной Империи, а впоследствии русская колония, превращенная теперь в марионеточное государство, целиком подвластное Японии. После того как СССР был вынужден, практически безвозмездно, передать КВЖД в полную собственность Маньчжоу-Го, несколько десятков тысяч ее русских служащих выразили желание выехать в Советский Союз. Нельзя сказать, что японо-маньчжурские власти понуждали их к этому. Скорее наоборот. Заинтересованные в сохранении опытных кадров, японцы всячески старались их задержать, хотя, согласно одному из условий договора о передаче концессии, они не могли делать этого насильно. Русских, однако, предупреждали, что на родине, для многих уже только родине их отцов, репатриантов ждут одни только несчастья. Большевицкое правительство, а особенно его политическая полиция не доверяют людям из-за границы. А тем более тем, кого они причисляют к категории "классово чуждых". Большинство сочло это антисоветской пропагандой. Рассказы о зверствах и коварстве большевиков давно уже набили оскомину. А вот умелая советская агитация за возвращение блудных сынов России и их детей на свою, ставшую социалистической, родину находила в сердцах большинства изгнанников горячий отклик. Эта родина звала их голосом правительства СССР обещая немедленное трудоустройство, жилье, все преимущества жизни в

обществе без гнета и эксплуатации.

Владимира Гене Россия манила к себе воспоминаниями детства. Как и многие замкнутые от природы люди, он был скрытым мечтателем. Перед подачей заявления о репатриации не обошлось, конечно, без долгих раздумий и мучительных колебаний. Но память о тихих речках, расцветке осеннего леса, ветлах на проселочной дороге как-то не вязалась с представлением, что такой страной управляют жестокие и коварные обманщики. Врут японцы и стареющие вожаки белогвардейщины, которым соваться на родину, несмотря на широкую амнистию 1922 года, конечно, опасно! А место молодого русского - в России. Тут, в азиатской, так и оставшейся чужой, стране, Гене ничего не удерживало. Его родители уже умерли, а молодая жена разделяла его взгляды, хотя была русской, родившейся уже в Харбине. И хотя ей было нелегко расстаться со стариками родителями, она поехала с мужем в Советский Союз.

Здесь бывших "кавэжэдинцев" встретили на вокзалах приветственными речами и оркестрами. Все они, как было обещано, были устроены и на работу, и по части жилья с явными преимуществами перед старыми советскими гражданами. Но через каких-нибудь год-полтора почти все репатрианты оказались уже в дальних лагерях заключения, где их иронически звали "каэжэдинцами". От названия "литерной" статьи "КРД", по которой большинство вернувшихся на родину без суда и следствия водворялись в эти лагеря. КРД расшифровывалась как контрреволюционная деятельность. Притом не совершенная - тогда вступила бы в силу пятьдесят восьмая статья уголовного кодекса, а могущая быть совершенной при каких-то туманных обстоятельствах. Некий заочный и тайный "суд", рассматривая бывших эмигрантов из России как потенциальную "пятую колонну" в СССР, списками по несколько тысяч человек в каждом, приговаривал их к восьмилетнему сроку заключения в лагерях принудительного труда. К некоторым приклеивали другой "литер" - ПШ, означавший: "Подозрительный По Шпионажу" и тянувший уже десять лет срока и более строгий режим заключения, чем КРД. Гене пришили "ПШ", вероятно, как лучше других образованному человеку, да еще сыну дворянина и белогвардейского офицера.

Почти девять лет из своего "неразменного червонца" потенциальный шпион в пользу Японии валил деревья на Северном Урале, работал в карагандинских угольных копах, рыл оросительные каналы в среднеазиатских песках. Конечно, его не миновали постоянные спутники сталинских лагерей, голодное изнурение, цинга, пеллагра, не говоря уже о дизентерии, воспалении легких и прочих "случайных" заболеваниях. У Гене оставалась впереди только одна десятая часть всех этих испытаний, когда он был осужден на новые десять лет заключения. На этот раз не заочно, не по общему списку и не на основании одного только подозрения, а за преступление, предусмотренное десятым пунктом пятьдесят восьмой статьи, - контрреволюционную агитацию.

Барачные стукачи донесли лагерному оперуполномоченному, что заключенный из "бывших", с нерусской фамилией пишет какую-то "книгу". Делает он это, когда в бараке все спят, лежа на своих нарах или забившись в угол сушилки для мокрой одежды. Свою толстую тетрадь Гене никому не показывает и прячет ее под барачный пол через дыру, которую когда-то проели крысы.

Тетрадь оказалась сшивкой из подобранных, где только можно, тщательно разглаженных и иногда склеенных лоскутков бумаги. Тут были исписанные с одной стороны листки из счетоводных книг, вывороченные наизнанку, старые конверты и даже махорочные обертки. На них огрызком утаенного от надзирательских глаз карандаша Гене делал наброски сцен из лагерного быта. Наброски были яркие и сочные и рисовали этот быт в весьма неприглядном свете. Преступная цель их автора была ясна. Он готовил этюды для своего будущего сборника рассказов о лагере. Известно было даже тенденциозное название этого сборника - "Деревянные бушлаты". Гене имел неосторожность вывести это название на обложке своей тетради, сделанной из "цементной" бумаги. "Деревянными бушлатами" в лагере назывались гробы из горбыля, в которых хоронили умерших заключенных.

Судил Гене военный трибунал при лагерном объединении. Лагерный суд подошел к бывшему шпиону и последышу недобитых белоэмигрантских бандитов со всей возможной строгостью. Для отбывания второй десятки срока "политический рецидивист" был отправлен в только что тогда организованный, заполярный, воркутинский "Речлаг". Здесь в лагере для особо опасных политических преступников он на долгие годы стал "человеком номер...", какой именно явствовало из нашитых на его каторжанскую одежду белых прямоугольников с этими номерами.

Вторичное осуждение и водворение в спецлаг с его гнетущим режимом Гене воспринял с равнодушием отчаяния, обычного для всякого, кто в конце почти отбытого, многолетнего каторжного срока получает новый. Человеку в таких случаях всегда кажется, что пережить еще и этот срок - дело, решительно для него невозможное. И не все ли теперь равно, когда на него наденут "деревянный бушлат", через год или через три? Но прошло и пять, и шесть, и восемь лет. Потомок нескольких поколений дворян-белоручек оказался живучее, чем он сам себе это представлял, а "пути господни", как всегда, неисповедимыми. Оставалось немногим более полутора лет до начала вечной ссылки, на которую заранее были осуждены отбывшие срок в лагерях особого назначения, как Гене со многими миллионами других таких "преступников" был не только освобожден из заключения, но и полностью реабилитирован. По крайней мере формально он стал

полноправным гражданином Советского Союза, вольным выбирать себе местожительство и работу.

Неполадки с сердцем, от природы необычайно выносливым, но в условиях тяжелого труда, почти постоянного недоедания, психической угнетенности и вредного климата в конце концов сдавшим, требовали выезда из Заполярья. Гене, однако, не только не выехал с Севера, но еще глубже в него забился. Окружающие объясняли это почти самоубийственное решение угрюмой нелюдимостью бывшего каторжанина, особенно развившейся после того, как он узнал, что где-то в Красноярском крае, в таежном лагере умерла его жена. Некоторые, знавшие его немного ближе, считали, что мрачную необщительность Гене усиливает еще его склонность к запойному пьянству. От этой склонности, проявлявшейся еще в молодости, его не смогло излечить даже семнадцатилетнее, вынужденное воздержание. Да и какое это лекарство, если оно сопровождается душевной депрессией, преждевременной старостью, тоской одиночества и утратой всех иллюзий и всех надежд.

При таких обстоятельствах о возвращении к старой, к тому же почти уже забытой профессии железнодорожника не могло быть и речи. Другое дело работа в какой-нибудь из многочисленных геологических партий, обследующих богатые недра Севера. Здесь особенно не наблюдают не только часов, но даже календаря. Поэтому пьянство является как бы узаконенной особенностью быта полевиков. Такое положение если не оправдывается, то объясняется многими обстоятельствами. Тут и состав полевых групп, в своей сезонной, подсобной части, обычно набранных из людей с бору по сосенке, вплоть до вчерашних уголовников; и отсутствие иных удовольствий; и действительная необходимость как-то противостоять сырости и холоду, бродячей жизни. Никакая моралистика тут, конечно, поделаться ничего не может, и большому геологическому начальству не остается ничего другого, как просто "не замечать" хронического пьянства в полевых партиях. Не замечать же не трудно, так как табеля рабочих дней в поле никто фактически не ведет. Да и само понятие рабочего дня здесь так же неопределенно, как и понятие прогула. Все сказанное не только в полной, но и в особенной степени относится и к должности коллектора, который всегда несколько "сам по себе". Гене, от природы склонный к мрачному пессимизму и считавший себя безнадежным алкоголиком, счел эту должность подходящей для себя как нельзя более.

Но это была не единственная причина его добровольного отшельничества. Десятилетний срок, полученный за попытку изобразить в ярких миниатюрах уродливую действительность лагеря, не только не погасил в Гене этого стремления, но еще более его усилил. Правда, в режимном лагере он этой попытке не повторял, такая попытка была там практически невозможной. Наученный горьким опытом, он не доверял теперь ни бумаге, ни людям. И в течение многих лет угрюмо вынашивал в памяти сюжеты и формы выражения своих будущих рассказов. В этом, возможно, кроется один из секретов их предельной сжатости.

Избушку коллектора на краю затерянного в тундре маленького поселка Гене счел для себя весьма подходящей. Здесь было мало любопытных глаз и ушей, а любопытных профессионально, возможно, не было и вовсе. Времена, правда, переменялись, но лишь настолько, что запретная прежде тема стала только нежелательной.

Было бы, однако, совершенно неверно думать, будто желание поведать миру о страданиях заключенных эпохи сталинского беззакония было самоцелью или хотя бы сколько-нибудь важным стимулом в творчестве Гене. Не было таким стимулом и желание известности, хотя бы посмертной. Писатель совсем не верил, что его произведения будут когда-нибудь изданы, и до конца жизни не был уверен, что они того стоят. Кроме того, как и франсовский аббат Куаньяр, он считал, что будущее чуждо распрям прошлого и не способно их понять. Поэтому источать кровь сердца ради его равнодушных зевков не стоит.

И все же Гене писал. Он без конца шлифовал и переделывал свои "рассказы в ладонь", пока не достигал в них чеховской выразительности и выпуклости образов, а заложенную в произведение мысль не укладывал в одну-две фразы. Тогда приходила радость творчества. Но она всегда недолгой была и вскоре сменялась новыми терзаниями неуверенности в своих силах и неудовлетворенности.

А силы были, и недюжинные. Поздно пробудившийся в Гене, и, вероятно, только под действием драматических обстоятельств его жизни, талант художника-миниатюриста, как и всякий большой талант, мучил своего обладателя и требовал выхода. Настоящий писатель не может не писать, как не может, например, алкоголик не пить. Гене сам был алкоголиком и со свойственной этому роду больным мрачной иронией почти уравнивал обе свои страсти в их бесцельности.

И только одному человеку на свете он читал и показывал свои произведения. Это та женщина из Воркуты, которой он время от времени писал письма. Впоследствии она утверждала, что любовь к ней и была главной, хотя и тайной, причиной того, что Гене остался в Заполярье. Работу коллектора, лесника или другую отшельническую должность он мог бы найти и южнее Полярного круга. Весьма возможно, что она была права. Несомненно во всяком случае, что сама эта женщина любила покойного писателя искренне и глубоко и была тем человеком, который сохранил немногочисленные, но выразительные образцы его творчества.

Познакомились они в те месяцы, перед полным его расформированием, когда в воркутинском Речлаге был отменен свирепый режим спецлагеря и его заключенных брали теперь даже в качестве вспомогательных рабочих в геологические и топографические партии. В одной из таких партий и встретились "и. о." коллектора группы, заключенный Гене и молодая геологичка. Она, впрочем, была уже замужем за пожилым, солидным геологом, жила в городе и имела ребенка.

Случается, что недопустимая с филистерской точки зрения разница социальных положений, возраста и характеров не препятствует, а как раз содействует сближению мужчины и женщины. В таких случаях часто приводят старинное выражение о ветре, задувающим слабый огонь и раздувающим сильный. Если же не ограничиваться столь общими аналогиями, то за объяснением подобных явлений следует обращаться к психологии, прежде всего женской. В женской психике сострадание к трагической судьбе мужчины, особенно талантливого - неважно действительным или только воображаемым является его талант, - нередко трансформируется в искреннюю и большую любовь. Если же эта любовь к тому же еще и табу, то тогда старая метафора об огне и ветре приложима уже вполне, так как романтика запретного обостряет, а следовательно, и усиливает вспыхнувшее чувство. Объяснить ответное чувство немолодого, изголодавшегося по женской ласке и состраданию мужчины намного проще. Тут в любовь может вылиться уже одна только неизъяснимая благодарность за проявленное к нему душевное, женское тепло.

Так или иначе, но взаимная и тайная любовь возникла и оказалась устойчивой против всех ветров все еще нелегкой и неустроенной жизни. И когда Владимир Евгеньевич получил наконец право покинуть неприятные края, он уже не мог отказать себе в возможности, хотя бы изредка, встречаться со своим другом-женщиной. Это она своей верой в его талант поддержала в нем решение писать, сумела растопить многолетний лед отчужденности и скрытости, по крайней мере по отношению к ней самой, разглядеть в угрюмом и замкнутом человеке тепло сострадания к людям такой же судьбы. С самоотверженностью любящей женщины она была готова даже бросить мужа, относительно комфортабельную жизнь и ехать с Гене в совсем уж необжитые места. Он, однако, от такой ее жертвы мягко, но решительно отказался. Согласие на эту жертву было бы с его стороны эгоистическим злоупотреблением женской привязанностью. Что мог дать взамен страдающий человек с начинающим пошаливать сердцем, да еще запойный пьяница? Будет лучше, если от времени до времени она будет посещать его, когда это позволят обстоятельства, транспорт и состояние дорог. Тогда в промежутках между встречами он будет жить их ожиданием, которое иногда дает больше, чем само общение с женщиной. И, конечно, работой.

Все это было слишком резонно, а любовница Гене слишком большим его другом, чтобы не согласиться с ним. Пользуясь всякими предложениями, на тракторном прицепе-фургоне или вездеходе она делала крюк в несколько сот километров, чтобы побыть с ним один-два дня. Это случалось очень не часто, всего два-три раза в год.

Писатель в такие дни совершенно преображался. Из бирюка и нелюдима он превращался в словоохотливого, почти веселого человека, правда, только тогда, когда никого, кроме его гости, рядом не было. Он читал ей свои рассказы и с явным удовольствием, хотя и некоторым недоверием, выслушивал ее похвалы. Говорил о главной идее, которую он старается вложить в свои произведения, и о способах эту идею выразить. Она заключалась в том, что среди падших и отверженных можно и должно разглядеть Человека. Отшельник и мизантроп с виду, Писатель в душе был добр и снисходителен к людям.

Несмотря на ее просьбы, он дарил подруге свои произведения скупой и неохотной. Их автор считал, что ничего по-настоящему готового у него пока нет. Все еще не совершенно, все требует доделок и переработок.

Его все больше мучили сомнения в своем таланте, хотя это, казалось бы, и не должно было иметь для него особого значения. Все равно ведь вся его писанина умрет вместе с ним. Тут было странное, мучительное своей нелепостью противоречие. После отъезда гости Писатель впадал в еще большую хандру и вскоре запивал. Так при алкоголизме бывает всегда, причина и следствие тут взаимодействуют.

Вино усиливает меланхолию, меланхолия вызывает новые приступы пьянства. Порочный круг замыкается сам по себе и как тяжелое колесо катится с горы, увлекая с собой и человека. Гене все чаще пил мертвую, хотя и знал, что для него это кратчайший путь в могилу. Ну, а кто по нем заплачет? Эта, которая любит его вопреки здравому смыслу и своим жизненным интересам? Да, наверно. Но он в ее жизни не более, чем балласт. И чем скорее этот балласт свалится с ее плеч, тем лучше. Колесо катилось вниз, все убыстряясь.

Однажды коллектор экспедиции, вернувшись из очередного похода в тундру, не доставил собранных образцов пород, хотя они были там срочно нужны. Значит, заболел или запил. К Гене послали человека. Тот долго стучался в запертую изнутри дверь его избушки, а потом стал на завалинку и поверх газеты, заменявшей на оконце занавеску, заглянул внутрь. Хозяин коллекторской лежал на полу, подвернув под себя голову и прижав к сердцу обе руки. Вскрытие показало, что он умер от инфаркта в состоянии тяжелого опьянения.

В избушке поселились другие. Кроме нехитрого скарба покойного они унаследовали от него еще ворох каких-то бумаг, небрежно сброшенных в посылочный ящик. Бумаги были исписаны неразборчивым, неряшливым почерком, измараны и исчерканы во всех направлениях. Никуда, кроме как на растопку, они не годились. Правда, кое-кто из знавших о писательстве покойного коллектора из любопытства взял себе часть этих бумаг. По ним сделали вывод, что Гене и впрямь был писателем. И даже развеселым, судя по откровенности, с которой он воспроизводил в своих коротеньких рассказах язык лагеря. Рассказики посмаковали, а потом потеряли их. Когда, прослышав о смерти Гене, в поселок приехала его любовница, от рукописей Писателя не осталось уже почти ничего.

Она долго стояла над могилой покойного друга на крохотном кладбище за околицей. Бугорок бурого торфа над этой могилой был самым свежим из насыпанных здесь, но и он начал уже заметно оседать. Болотистая почва тундры делала свое дело. Облетели и бумажные цветы с казенного венка, возложенного на могилу труженика экспедиции ее разведкомом. Его проволочный каркас успел уже густо заржаветь и был почти того же цвета, что и тундра вокруг. Начинались холодные дожди, короткое и грустное здешнее лето кончилось. Одиноким плачущей женщине казалось, что хмурые и низкие дали осеннего Заполярья тоже набухают слезами. Последний взгляд на убогую могилу она бросила уже из окна вездехода.

Плакала эта женщина и спустя много лет после смерти Гене, когда показывала кое-кому из своих друзей его уцелевшие миниатюры. Она и сейчас не сомневалась, что покойный был не просто писателем, а Писателем Божьей милостью, с большой буквы. Одним из великого числа талантов, загубленных на Руси Неправдой и Произволом. Имена их "Ты же, Господи, веси".

К женским оценкам человеческих достоинств, особенно достоинств мужчин, которых они любили, следует подходить с большой осторожностью. Обычно тут преобладает эмоциональное начало. Но бывшая подруга Гене не была голословной. Ее высокое мнение о писательском таланте своего друга подтверждается сохранившимися у нее его маленькими произведениями, правда, весьма немногими. Она не могла себе простить, что не была достаточно настойчива, выпрашивая для себя литературные подарки. Покойный всякий раз умел ее убедить, что понравившиеся ей вещицы далеко еще не совершенны и требуют доработки. Она тогда не знала еще одного из главных свойств каждого настоящего писателя, впоследствии сформулированного Ремарком. Писатель никогда не заканчивает работы над своей книгой. Приходит время, и он ее оставляет.

Два из оставленных Гене рассказиков я привожу в этом очерке. Первый из них называется "Свидание". Это картина встречи через колючую проволоку лагерной ограды двух любящих людей. Он - мелкий уголовник, только что получивший очередной срок. Она - его жена, такая же несчастная, нищая и жалкая. Это подонки общества, его фактические парии. Мало кто думает о таких, что и они люди и что ничто человеческое им не чуждо. Чтобы разглядеть это человеческое сквозь наслоения уродливого, грязного и смешного, требуется острое зрение и пристальный взгляд доброго таланта. У Гене был такой талант. С его помощью писатель отображает скрытую от большинства окружающих внутреннюю сущность своих героев, показывая как бы через увеличительное стекло. При этом он до предела сужает поле зрения непосредственно видимого, чтобы оставить тем больший простор для вызванных им мыслей и чувств. Гене не боится натуралистичности в своих описаниях и не приглаживает непристойного жаргона своих персонажей, если это нужно для правдивой передачи обстановки и подлинности изображения характеров и типов.

"Чадин нескладный и костистый как худой медведь. У него лиловые губы и отталкивающе безобразное лицо со следами кожной болезни. Он не говорит, а как будто рычит, пользуясь почти одними только грубыми и непристойными словами. Других слов, впрочем, он почти не знает.

Однако мало кому известно, что и свой грубый, хриплый голос, и постоянно свирепое выражение лица и глаз Чадин выдумал. И что он носит их, как носят отпугивающую окраску некоторые безоружные животные.

Нищенская неудача ходила за ним по пятам с первого дня его рождения. Даже, пожалуй, еще раньше, так как Чадин начал с весьма неудачного выбора для себя родителей. Его отец вряд ли был известен даже его матери, а сама она умерла в тифозном бараке еще во времена гражданской войны, успев только обучить сына мелким кражам и сквернословию. С этим багажом он и начал свою самостоятельную жизнь на вокзалах, в люках городской канализации и в приютах для беспризорных, из которых, впрочем, Чадин постоянно убегал. Затем детдомы сменились тюрьмами, убежать из которых было уже труднее. Да и попадался Чадин, пожалуй, чаще, чем воровал.

Так как действительно нет уroda, который не нашел бы себе пары, то и Чадин в промежутках между тюремными сроками, первоначально не очень большими, жил с женщиной, такой же несчастной и отверженной, как и сам, и лишь немногим более умной. Он постоянно возвращался к ней, так как считал ее своей женой, а она его мужем. Их любовь была верной и прочной и завершилась тем, что после его осуждения на нынешний, уже восьмилетний, срок у них родился ребенок.

С этим ребенком на одной руке и красным узелком - в другой она и стоит сейчас перед зоной. Женщина одета в потрепанный и латаный мужской пиджак. На ее худых, кривоватых ногах продранные во многих местах чулки и стоптанные туфли с покривленными каблуками. Однако выражение испитого, не по годам морщинистого лица решительное и воинственное.

- Бес чужеродный! - кричит женщина, потрясая узелком, в котором, наверно, пачка махорки и несколько кусков сахара. Возможно, однако, что там только два гриба, найденных по дороге. Она смотрит презрительно и ненавидяще: - Страшной разбойник тоже... Дранный весь, муде наружу... Парзор!

День погожий. Поэтому невдалеке, на пропитанной аммиаком траве зоны, лежит лагерная шпана и глазеет на свидания. Зрители довольны монологом посетительницы и счастливо гогочут.

- Ты меня не страми! - хрипит Чадин, вращая глазами.- Чадина х... возьмешь! Чадин сам всех е... знать... А страм я с кашей ем. Во как!

Шпана заливается еще громче.

- Змей ты, погубитель проклятый! Раз... мамай губастый! - выкрикивает женщина и грозно вытирает нос кулаком.

Зрители на траве, держась за животы, корчатся от смеха. И вдруг они смолкают. Дело в том, что умолкли актеры бесплатного комического спектакля. Они не ругаются, они плачут. И даже самым зачерствевшим и скудоумным из зрителей становится ясно, что не так уж оно и смешно, это зрелище двоих обездоленных людей, стоящих по разные стороны колючей проволоки!"

Еще одна картина, живописующая редкий день отдыха в каторжном лагере посреди песков азиатской пустыни. Она так и называется - "Выходной день".

"Над лагерем летает, то поднимаясь куда-то ввысь, то падая на его ограду и запыленные, приземистые строения, смертная тоска гармошки. Это играет в бараке КВЧ его дневальный Трунов. Аккуратно стиснув ноги и остановив синие глаза, гармонист самозабвенно разводит мехи, а его пальцы привычно и уверенно бегают по пуговкам клавиатуры. Звуки раздирают бревенчатые стены клуба и гаснут. Вдоль них на полу сидят басмачи и слушают. Кое-кто за длинным щелястым столом играет в шашки, осторожно передвигая их задубевшими в заботах пальцами.

Остальные спят по баракам. Спят, запрокинув головы и открыв рты, хотя солнце уже закатывается за дальние барханы. У мертвых и усталых мало забот.

Заканчивается медленная скука выходного дня. В быстро сгущающейся темноте вспыхивают прожекторы на вышках ограждения. В их холодноватом свете пляшут бесчисленные песчинки, поднимаемые слабым ветром и не видные при солнце. Стихает и гитарный звон полированных мух в длинной уборной на пятнадцать очков, стоящей в дальнем углу лагеря.

Вот уже час, как в ней неподвижно сидит человек, уткнув в худые колени заострившееся лицо. Сорванная дверь дощатого строения скрипит на одной петле, по желобу с негромким журчанием стекает желтая моча. Люди часто входят сюда, справляют нужду и уходят, стаскивая с шеи брючные ремни.

В редкие минуты, когда человек остается один, слышно, как похлопывает по крыше уборной полуоторвавшийся лист толя, а в барханах за зоной начинают звенеть остывающие пески. Тогда человек поднимает голову. На его темном лице грозное уныние умирающего орла. Но снова входят люди, и человек опять прячет его в колени.

Гармонист в клубе все еще продолжает играть. Иногда он переходит на веселый, плясовой мотив, и звуки гармоники как будто начинают кувыркаться в холодеющем воздухе. Заигрывая с легкомысленными песчинками в прожекторных лучах, они подхватывают их и, пританцовывая, уносят куда-то в темноту.

А на пружинящей доске уборной, заляпанной хлоркой и нечистотами, все еще висит над очком Султан ага-Галиев, грозный когда-то предводитель басмачей. И жизнь по каплям вытекает из него пенистой кровью дизентерии. Не он ли сказал, отказываясь лечиться, что его жизнь теперь стоит не больше, чем это дерьмо. Так пусть она и уходит вместе с ним в вонючую яму".

Вот так же безжалостно, в силу такого же, хотя и ложного, сознания ненужности и бесцельности своей сломанной жизни, укорачивал ее и создатель этого скорбного образа, так и оставшийся безвестным. Финалы судеб Писателя и его героя во многом сходны, хотя его могилу не замели пески пустыни, а засосали топи тундры.

ОТ АВТОРА

Миниатюры "Свидание" и "Выходной день" принадлежат перу Игоря Николаевича Стина, умершего в заполярном поселке Халмер-ю в конце пятидесятих годов в одиночестве и безвестности. Мною они подвергнуты только некоторой обработке, не нарушившей ни их содержания, ни стиля покойного писателя.

Публикация В. Демидовой